



ЛЕВ ШЕСТОВ

Пророческий дар

(К 25-летию смерти Ф. М. Достоевского)

I

Владимир Соловьёв называл Достоевского пророком, даже пророком Божиим. Вслед за Соловьёвым, часто, впрочем, совершенно от него независимо, очень многие смотрели на Достоевского, как на человека, пред которым лежали открытыми книги человеческих судеб. И это не только после его смерти, но даже ещё при жизни. По-видимому, и сам Достоевский если и не считал себя пророком (для этого он был слишком проницателен), то, во всяком случае, полагал, что всем людям следует видеть в нём пророка. Об этом свидетельствует и тон «Дневника писателя», и вопросы, которых он там обыкновенно касался. Дневник писателя стал появляться с 1873 года, т. е. по возвращении Достоевского из-за границы, и, стало быть, совпадает с тем периодом его жизни, который биографы называют «самым светлым». Достоевский — счастливый семьянин, обеспеченный человек, знаменитый писатель, автор целого ряда всеми замеченных романов — «Записок из мёртвого дома», «Идиота», «Бесов». Всё, что нужно, вернее, можно взять от жизни — взято. Помните рассуждения Толстого в «Исповеди»? Ну, я буду таким знаменитым, как Пушкин, Гоголь, Гёте, Шекспир, наконец, — «а что же дальше»? И в самом деле, трудно стать писателем более знаменитым, чем Шекспир — да если бы и удалось, то этим неизбежный вопрос — «что же дальше?» — нисколько бы не был устранён. В писательской деятельности замечательного писателя рано или поздно наступает момент, когда дальнейшее совершенствование оказывается невозможным. Как быть замечательнее самого себя на литературном поприще? Если хочешь двигаться, приходится волей-неволей переходить в другую плоскость. Так, по-видимому, всегда начинается пророчество у писателей. По общему

признанию, пророк больше, чем писатель, а от общих мнений гениальность далеко не всегда застраховывает. Даже такие недоверчивые люди, как Толстой и Достоевский — люди, готовые всегда и во всём сомневаться — не раз становились жертвами предрассудков. От них ждали пророческих слов, и они шли на встречу желаниям людей. Достоевский ещё охотнее, чем Толстой. Причём оба предсказывали очень неумело: они обещали одно, а выходило совсем другое. Толстой, например, давно уже обещал, что люди скоро очнутся, бросят свою братоубийственную войну и начнут жить, как следует истинным христианам, исполняя евангельскую заповедь любви.

Толстой предсказывал и проповедовал, люди читали его, как не читали, кажется, ни одного писателя, а старых своих привычек и вкусов не меняли. За последнее десятилетие Толстому пришлось быть свидетелем целого ряда ужасных, ожесточённейших войн. А наша теперешняя революция, с вооружёнными восстаниями, виселицами, расстрелами, бомбами, революция, пришедшая на смену кровопролитнейшей Дальневосточной войне!

И это — в России, в стране, где родился, жил, учил и предсказывал Толстой, где миллионы людей искренне считают его величайшим гением! Даже в собственной семье Толстой не умел произвести желательного переворота: один сын его служит офицером, другой пишет в «Новом времени» в таком тоне, точно он сын Суворина, а не Толстого... Где же пророческий дар? Отчего такой замечательный человек, как Толстой, ничего угадать не умеет, оказывается столь близоруким в жизни? «Что будет завтра?» — Завтра я сотворю чудеса, сказал волхв древнему

русскому князю. В ответ князь, вынув меч, отрубил волхву голову, и волновавшаяся толпа, верившая волхву-прорицателю, успокоилась и разошлась. История всегда отсекает головы пророческим предсказаниям, и тем не менее толпа гонится за прорицателями. Маловерная, она ищет знамения, ибо ей хочется чуда. Но разве способность предсказывать служит доказательством чудотворной силы? Можно предсказать солнечное затмение, комету, но ведь это кажется чудом только тёмному человеку. Просвещённый же ум твёрдо знает, что там именно, где возможно предсказание, чуда нет, ибо возможность предсказания, предугадывания предполагает строгую закономерность. Следовательно, пророком окажется не тот, кто наиболее одарён духовно, не тот, кто хочет властвовать над миром и повелевать законами, не

волхв, не кудесник, не художник, не мятежный гений, а тот, кто, вперёд покорившись действительности и её законам, обрёл себя на механический труд подсчёта и расчёта. Бисмарк умел предсказать величие Пруссии и Германии, да не только Бисмарк, а заурядный немецкий политик, для которого всё сводится к Deutschland, Deutschland *ber alles* («Германия, Германия превыше всего» — *нем.*), мог угадать на много лет вперёд, а вот Достоевский и Толстой ничего угадать не умели. У Достоевского это ещё заметнее, чем у Толстого, потому что он чаще пытался угадывать: его Дневник наполовину состоит из несбывшихся прорицаний. Поэтому же он сплошь и рядом компрометировал своё пророческое дарование.

II

Может быть, кому-либо покажется неуместным, что в статье, посвященной 25-летию смерти писателя, я вспоминаю о его ошибках и заблуждениях. Но такой упрек едва ли справедлив. Известного рода недостатки в замечательном человеке не менее характерны и важны, чем его достоинства.

Достоевский не был Бисмарком, да разве это так уже дурно, разве об этом жалеть приходится? А затем ещё вот что: для писателей типа Толстого и Достоевского их общественно-политические идеи не имеют ровно никакого реального значения. Они знают, что их никто не слушает. Что бы они ни говорили, всё равно история и политическая жизнь пойдут собственным путём, ибо не их книги и статьи направляют события. Вероятно, этим объясняется их необыкновенная решительность в суждениях. Если бы Толстой мог думать, что достаточно ему потребовать в статье, чтобы «солдаты, городовые, судьи, министры» и все прочие столь ненавистные ему охранители общественного спокойствия (да кому, кстати, милы они!) были распущены, чтобы убийцам и разбойникам были раскрыты двери тюрем, — кто знает, оказался ли бы он достаточно твёрдым и непоколебимым в своих убеждениях, чтоб принять на себя всю ответственность за последствия предлагаемых им мер. Но он знает наверное, что его не послушают, и потому спокойно проповедует анархию. Достоевскому с его проповедью пришлось сыграть роль совсем иную, но тоже, так сказать, платоническую. Совершенно, вероятно, неожиданно для самого себя он оказался певцом не «идеальной»

политики, а тех реалистических задач, которые поставляли себе всегда правительства в тех странах, где судьбами распоряжались немногие личности. Если послушать Достоевского, можно подумать, что он изобретает идеи, которые правительство должно принять к руководству и осуществлению. Но немного внимания, и вы убедитесь, что Достоевский не изобрёл решительно ни одной самобытной политической идеи. Всё, что у него было по этой части, он, без проверки даже, заимствовал у славянофилов, которые, в свою очередь, являлись самобытными лишь в той мере, в какой они без посторонней помощи переводили с немецкого и французского *Russland, Russland, ber alles* («Россия, Россия превыше всего» — *нем.*) — даже размер стиха не испорчен заменой одного слова. Но, что особенно важно, — и славянофилы со своим русско-немецким прославлением национальности, и вторивший им Достоевский никого из имеющих власть ровно ничему не учили и не научили. Наше правительство само знало всё, что ему нужно было знать, без славянофилов и без Достоевского: ещё с незапамятных времён шло оно именно тем путём, который так страстно воспевали его теоретики. Так что последним ничего больше не оставалось, как воздавать хвалу имеющим власть и защищать русскую государственную политику против оппозиционно настроенного общественного мнения. Самодержавие, православие, народность — всё это до такой степени прочно держалось в России, что в семидесятых годах, когда Достоевский начал проповедовать, нисколько в поддержке не нуждалось. Да ведь и вообще власть, как известно, никогда серьёзно не рассчитывает на поддержку литературы. Она, между прочим, требует, чтоб и музы приносили ей дань, благородно формулируя свои требования словами: благословен союз меча и лиры.

Бывало, что музы и не отказывали ей — иногда искренне, иногда потому, что, как писал Гейне,

в России железные кандалы особенно неприятно носить ввиду больших морозов. Но, во всяком

случае, музам предоставлялось только воспевать меч, а отнюдь не направлять его (союзы всякие бывают!), и вот Достоевский, при всей независимости своей натуры, всё же оказался в роли певца русского правительства. То есть он угадывал тайные желания власти и затем по поводу их вспоминал все «прекрасные и высокие» слова, которые успел накопить за свои долгие странствования. Например: правительство жадными глазами

глядело на Восток (тогда ещё ближний) — Достоевский начинает доказывать, что нам необходим Константинополь и пророчествовать, что Константинополь скоро будет нашим. «Доказательство» Достоевского, конечно, чисто «нравственного характера», — на то он писатель: только из Константинополя, говорил он, можем мы провести чисто русскую всечеловеческую идею. Разумеется, что наше правительство, хотя у нас Бисмарков и не было, отлично понимало цену нравственным доказательствам и основанным на них предсказаниям и предпочло бы вместо них иметь несколько хорошо подготовленных дивизий и усовершенствованные орудия. Для реальных политиков один солдат и не то, что пушка, а ружьё старой системы больше значат, чем самая лучшая философско-нравственная концепция. Но они всё же не гонят от себя кротких певцов, если певцы знают свои шестки. Достоевский согласился на эту роль, ибо она всё-таки давала ему возможность проявлять свой строптивый характер в борьбе с либеральной литературой.

Он воспевал, протестовал, говорил несообразности, даже хуже, чем несообразности. Например, предлагал всем славянским народностям объединиться под эгидой России, уверяя, что таким только образом за ними будет обеспечена полная независимость, право культурного самоопределения и т. д. Это пред лицом миллионов живущих в России славян-поляков. И ещё: «Московские ведомости» высказали мысль, что хорошо было бы, если бы крымские татары эмигрировали в Турцию, ибо тогда можно было бы заселить крымский полуостров русскими.

Достоевский с восторгом подхватывает самобытную идею. Действительно, говорит он,

по политическим, государственным и иным подобного рода соображениям (не знаю, как другие, но когда я слышу из уст Достоевского такие слова, как «государственный», «политический» и т. п., мне безудержно хочется хохотать) татар необходимо вытеснить и на их землях поселить русских. Когда «Московские ведомости» проектируют такую меру — дело понятное. Но Достоевский! Достоевский, который называл себя христианином, который так горячо проповедовал любовь к ближнему, самоунижение, самоотречение, который «учил», что Россия должна «служить народам» — как могла улыбнуться ему такая хищническая мысль?! А между тем, почти все его политические идеи отзываются хищничеством: захватить, захватить и ещё захватить... Со-

ответственно нужде, он то выражает надежду на дружбу Германии, то грозит ей, то доказывает, что Англия в нас нуждается, то утверждает, что мы и без Англии проживём — совсем, как передовик из благонамеренной провинциальной газеты. И во всех этих смешных и вечно противоречивых утверждениях чувствуется лишь одно: Достоевский в политике ничего, решительно ничего не понимает, и сверх того, ему до политики никакого дела нет. Он принуждён идти на буксире вслед за другими, ничтожными по сравнению с ним людьми, и ничего, — идёт. Даже самолюбие — у него ведь было колоссальное, единственное в своём роде самолюбие, как и прилично всечеловеку — при этом нисколько не страдает. Главное, что люди ждали от него пророчества, что следующий за чином великого писателя есть чин пророка, что убеждённый тон и громкий голос есть признаки пророческого дарования. Говорить громко Достоевский умел; умел и говорить тоном человека, знающего тайну, власть имеющего: подполье выучивает. Всё это пригодилось. Люди приняли придворного певца существующего порядка за вдохновителя дум, за властителя отдалённейших судеб России. И с Достоевского этого было достаточно. Достоевскому это даже было необходимо. Он знал, конечно, что он не пророк, но он знал, что пророков на земле не было, а которые были, не имели на это большего права, чем он.

III

Позволю себе напомнить читателю письмо Л. Н. Толстого к Л. Л. Толстому, недавно опубликованное последним в газетах. Оно представляется очень интересным — опять-таки не с точки зрения практического человека, которому нужно разрешить вопрос дня, — с этой точки зрения Толстой, Достоевский и им подобные совсем ни на что не нужны — но ведь не о едином хлебе будет сыт человек.

Даже сейчас, в страшное время, переживаемое нами — если хотите, то сейчас, пожалуй, сильнее, чем когда бы то ни было — нельзя читать только одни газеты и думать лишь об ужасных сюрпризах, подготовляемых нам завтрашним днём. У каждого между чтением газет и партийных программ остаётся час досуга, хотя бы не днём, когда шум событий и текущий труд отвлекают, а глубокой ночью, когда всё, что можно было — уже сделано, всё, что нужно было — уже сказано. Тогда прилетают старые, спуг-

нутые «делами» мысли и вопросы. И в тысячный раз возвращаешься к загадке человеческого гения, человеческого величия. Насколько и в каких областях гений знает и может больше, чем обыкновенные люди?

И тогда письмо Толстого, которое днём возбуждало только негодование и раздражение — ведь в самом деле, разве не обидно, разве не возмутительно, что в великом столкновении враждующих меж собой в России сил он не умеет отличить правой от неправой и всех борющихся клеймит общим именем безбожников! — кажется иным. Днём, говорю я, это точно обидно, днём хотелось бы, чтоб Толстой был с нами и за нас, ибо ведь мы убеждены, что мы, только мы одни ищем правды, знаем правду, а что враги наши злонамеренно или по заблуждению защищают зло и неправду. Но это днём. Ночью же — дело иное. Вспоминаешь, что и Гёте просмотрел, просто не заметил великой французской революции. Правда, он был немцем и жил далеко от Парижа, а Толстой живёт вблизи Москвы, где расстреливали, резали, сжигали мужчин, женщин, детей. Как же он просмотрел эти ужасы? А он несомненно просмотрел Москву и всё, что было до Москвы. Происходящие события не кажутся ему значительными, выходящими из ряда вон. Для него значительно только то, к чему он, Толстой, приложил руку: всё, что вне его и помимо его происходит, для него не существует. Такова великая прерогатива великих людей. И знаете что? Иногда мне кажется — или, может быть, мне только хочется, чтоб казалось — будто в этой прерогативе есть глубокое, сокровенное значение.

Когда нет сил слушать дальше бесконечные повести об ужасных зверствах, уже совершившихся и предвосхищать воображением всё, что ждёт еще нас впереди — вспоминаешь Толстого и его равнодушие. Не в нашей, человеческой, власти вернуть детям убитых отцов и матерей, матерям и отцам — убитых детей. Не в нашей власти даже отомстить убийцам — да не всякого мечь примирит с потерей. И пробуешь думать не по логике, пробуешь искать оправдания ужасам там, где его нет и быть не может. Что если, спрашиваешь себя, Толстой и Гёте оттого не видели революции и не болели её муками, что они видели нечто иное, может быть, более нужное и важное? Ведь это — люди величайшего духа! Может быть, и в самом деле на небе и земле есть вещи, которые не снились нашей учёности?..

Теперь можно вернуться к Достоевскому и его «идеям», можно безбоязненно называть их теми именами, которых они за-

служивают. Ибо хотя Достоевский и гениальный писатель, но это не значит, что мы должны забывать о наших насущных нуждах. Ночь имеет свои права, а день — свои. Достоевский хотел быть пророком, хотел, чтобы его слушали и кричали ему вслед «Осанна», ибо, повторяю, он полагал, что если когда-либо кому-либо кричали Осанна, то нет никакого основания отказывать ему, Достоевскому, в этой чести. Вот причина, почему в 70-х годах он выступает в новой роли проповедника христианства и даже не христианства, а православия.

Обращаю ещё раз внимание на то далеко не случайное обстоятельство, что проповедь совпала с самым «светлым периодом» его жизни. Прежний бездомный кочевник, бедняк, не знавший, где преклонить голову, обзавёлся семьей, собственным домом, даже деньгами (жена прикапливала). Неудачник стал знаменитостью. Каторжник — полноправным гражданином.

Подполье, куда ещё недавно и навсегда, как можно было думать, загнала его судьба, кажется старой фантазмагорией, никогда не бывшей действительностью. Там, в каторге и подполье, родилась и долго жила великая жажда Бога, там была великая борьба, борьба на жизнь, и на смерть, там впервые производились те новые и страшные опыты, которые сроднили Достоевского со всем, что есть на земле мятущегося и беспокойного. То, что пишет Достоевский в последние годы своей жизни (не только «Дневник писателя», но и «Братья Карамазовы»), имеет ценность лишь постольку, поскольку там отражается *прошлое* Достоевского. Нового дальнейшего шага он уже не сделал. Как был, так и остался *накануне* великой истины. Но прежде этого было ему мало, он жаждал дальнейшего, а теперь он не хочет бороться и не умеет объяснить ни себе, ни другим, что собственно с ним происходит. Он продолжает симулировать борьбу — да, сверх того, он как будто бы окончательно победил и требует, чтоб победа была признана общественным мнением. Ему хочется думать, что канун уже прошёл, что наступил настоящий день. А каторги и подполья, напоминающих, что день не настал, уже нет. Налицо все данные для полной иллюзии победы — подбери только слова и проповедай! Достоевский ухватился за православие. Почему не за христианство? Да потому, что христианство не для того, у кого дом, семья, достаток, слава, отечество. Христос говорил: всё покинь и следуй за мной. А Достоевский боится уединения, он хочет быть пророком для людей, современных, оседлых лю-

дей, для которых христианство в его чистом виде, неприспособленном к условиям культурного, государственного существования, не годится. Ну как христианину брать Константинополь, выселять из Крыма татар, переводить всех славян на положение поляков и т. д. и т. д. — всех проектов Достоевского и НВ не перечислишь. И вот, прежде, чем признать Евангелие — нужно истолковать его...

Как это ни странно, но приходится признать, что в литературе мы не встречаем никого, кто бы принимал Евангелие целиком, без истолкований. Кому нужно брать Константинополь по Евангелию, кому оправдать существующий порядок, кому возвысить себя или унижить врага — и каждый считает себя вправе урезывать или даже дополнять текст Писания. Разумеется, здесь я имею в виду лишь тех, кто на словах, по крайней мере, признаёт Божественное происхождение Нового Завета. Ибо тот, кто видит в Евангелии лишь одну из более или менее замечательных книг своей библиотеки — тот, конечно, вправе производить над ним какие угодно критические операции.

Но вот вам Толстой, Достоевский, Вл. Соловьёв. У нас существует мнение, особенно поддержанное и развитое новейшей критикой, что только Толстой рационализировал христианство, Достоевский же и Соловьёв принимали его во всей его мистической полноте, не давая разуму права отделять в Евангелии истину от лжи. Я нахожу это мнение ошибочным. Именно Достоевский и Соловьёв боялись признать Евангелие источником познания и гораздо более доверяли собственному разуму и житейскому опыту, чем словам Христа. Если был у нас человек, который хотя отчасти рискнул принять загадочные и явно опасные слова евангельских заповедей — то это Лев Толстой. Сейчас объясню. Толстой, говорят нам, пытался в своих заграничных сочинениях объяснить понятным для человеческого ума способом евангельские чудеса. Достоевский же и Соловьёв охотно принимали на веру необъяснимое. Но обыкновенно евангельские чудеса привлекают к себе наименее верующих людей. Ибо повторить чудеса — невозможно, а раз так, то, стало быть, тут достаточно наружной веры, т. е. одного словесного утверждения. Говорит человек, что верит в чудеса — репутация религиозности сделана, для себя и для других. А для остальной части Евангелия остаётся «толкование». Например, о непротивлении злу. Нечего говорить, что учение о непротивлении злу есть самое страшное, а вместе

с тем, самое иррациональное и загадочное из всего, что мы читаем в Евангелии. Всё наше разумное существо возмущается при мысли, что злодею оставляется полная материальная свобода для совершения его злодейских дел. Как позволить разбойнику на твоих глазах убить неповинного ребенка и не обнажить меча?! Кто вправе, кто мог заповедать такое возмутительное предписание? Это повторяет и Соловьёв, и Достоевский, один в тайной, другой в открытой полемике против Толстого. И так как всё-таки в Евангелии прямо сказано «не противься злему», то оба они, верующие в чудеса, вдруг вспоминают о разуме и обращаются к его свидетельству — зная, что разум, конечно, безусловно отвергнет какой бы то ни было смысл в заповеди. Иначе говоря, они повторяют о Христе слова сомневавшихся евреев: кто Он такой, что говорит, как власть имеющий? Бог повелел Аврааму принести в жертву своего сына. Авраам, хотя его разум, человеческий разум, отказывался признать понятный смысл в жестоком приказании, всё-таки приготовился поступить по слову Божию и не пытался хитроумным толкованием снять с себя тяжёлую, нечеловеческую обязанность. Достоевский же и Соловьёв, как только требования Христа не встречают оправдания в их разуме, отказываются исполнять их. А говорят, что веруют и в воскресение Лазаря, и в излечение паралитиков, и во всё прочее, о чём повествуют апостолы. Почему же их вера оканчивается как раз там, где она начинает обязывать? Почему вдруг понадобился разум, тогда как о Достоевском мы доподлинно знаем, что в своё время он затем именно и пришёл к Евангелию, чтоб освободиться от власти разума? Но то было время подполья — а теперь наступил светлый период его жизни. Соловьёв же подполья никогда, видно, и не знал. Только Толстой смело и решительно пробует испытать не в мыслях только, а отчасти и в жизни истинность христианского учения. Безумно не противиться злу с человеческой точки зрения — он это так же хорошо знает, как Достоевский, Соловьёв и все прочие многочисленные его оппоненты. Но в Евангелии он именно ищет Божественного безумия — ибо человеческий разум его не удовлетворяет. Толстой стал следовать Евангелию в тот совсем не светлый период своей жизни, когда его преследовали образы Ивана Ильича и Позднышева. Тут вера в чудеса, абстрактная, оторванная от жизни — ни к чему. Нужно ради веры отдать всё, что есть у тебя самого дорогого — сына на закланье. Кто Он такой, что говорил, как власть имеющий?

Нельзя ныне проверить, точно ли Он воскресил Лазаря и насытил несколькими хлебами тысячную толпу. Но, исполнив без колебания Его заповеди, можно узнать, дал ли Он нам истину... Так было у Толстого, и он обратился к Евангелию, единственному и подлинному источнику христианства. Достоевский же обратился к славянофилам и их религиозно-государственным учениям. Непременно православие, а не католичество, не лютеранство и даже не просто христианство. И затем — самобытная идея: *Russland, Russland, ber alles*. Толстой не умел ничего предсказать в истории, но ведь он почти явно и не вмешивается в историческую жизнь. Для него наша действительность не существует: он весь сосредоточился в загадке, заданной Богом Аврааму. Достоевский же хотел во что бы то ни стало предсказывать, постоянно предсказывал и постоянно ошибался. Константинополя мы не взяли, славян не объединили, и даже татары до сих пор живут в Крыму. Он пугал нас, что в Европе прольются реки крови из-за классовой борьбы, а у нас, благодаря нашей русской всечеловеческой идее, не только мирно разрешатся наши внутренние вопросы, но ещё найдётся новое, неслыханное доселе слово, которым мы спасём несчастную Европу. Прошло четверть века. В Европе пока ничего не случилось. Мы же захлёбываемся, буквально захлёбываемся в крови. У нас душат не только инородцев, славян и не славян, у нас терзают своего же брата, несчастного, изголодавшегося, ничего не понимающего русского мужика. В Москве, в сердце России, расстреливали женщин, детей и стариков. Где же русский всечеловек, о котором пророчествовал Достоевский в Пушкинской речи? Где любовь, где христианские заповеди? Мы видим одну «государственность», из-за которой боролись и западные народы — но боролись менее жестокими и антикультурными средствами. России опять придётся учиться у Запада, как уже не раз приходилось учиться... И Достоевский гораздо лучше сделал бы, если бы не пытался пророчествовать.

Впрочем, не беда, если он и пророчествовал. От всей души и теперь я рад, что хоть под конец жизни отдохнул он от своей каторги. Я глубоко убеждён, что если бы даже до последних дней своих он оставался в подполье, всё равно «разрешения» волновавших его вопросов он не добился бы. Как бы много душевной энергии ни вложил в своё дело человек, он всё же останется «накануне» истины и не найдёт нужной ему разгадки. Таков человеческий закон. А проповедь Достоевского вреда не принесла.

Его слушали те, которые всё равно бы шли на Константинополь, душили бы поляков и уготовляли бы страдания, столь необходимые мужицкой душе. Если Достоевский и дал им свою санкцию, то этим, в сущности, ничего им не прибавил. Они в литературной санкции не нуждаются, совершенно правильно рассуждая, что в практических вопросах решающее значение имеют не печатные листки, а штыки и пушки...

Всё, что было у него рассказать, Достоевский рассказал нам в своих романах, которые и теперь, через двадцать пять лет после его смерти, притягивают к себе всех тех, кому нужно выпытывать от жизни её тайны. А чин пророка, за которым он так гнался, полагая, что имел на него право, был ему совсем не к лицу. Пророками бывают Бисмарки, они же и канцлерами бывают, т. е. первыми в деревне, первыми в Риме... Достоевским же суждено вечное «накануне»?! Снова попробуем пренебречь логикой, на этот раз, быть может, не только логикой и сказать: да будет так...

1906

